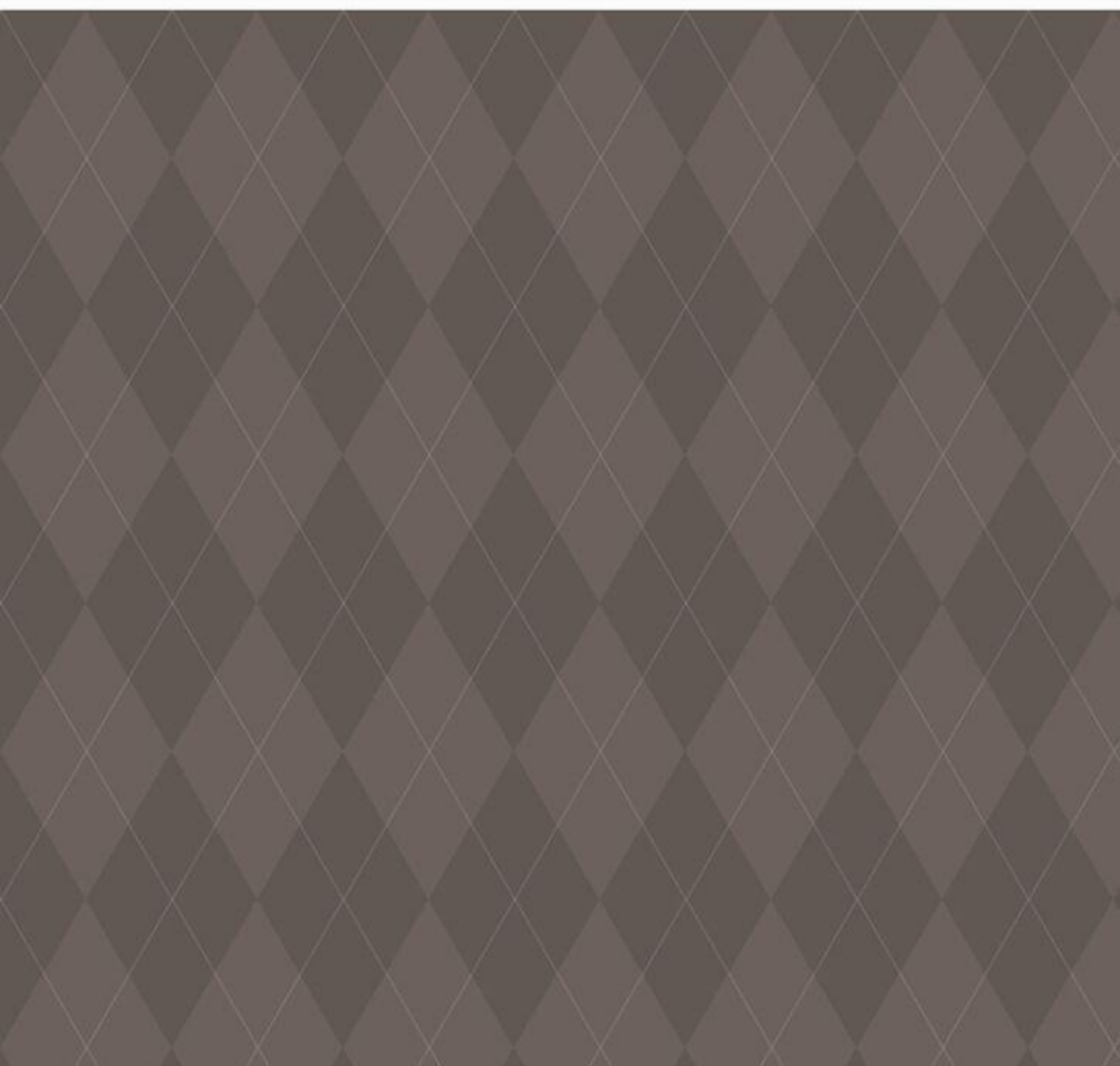


18+

ГАНС ГRAWL

Хлеб и лампочки



Ганс Гrawl

Хлеб и лампочки

«Издательские решения»

Grawl Г.

Хлеб и лампочки / Г. Grawl — «Издательские решения»,

Утром пахнет перегаром, в вагоне метро тесно, а незнакомая девушка в сером пальто уверена, что они живут вместе третий год. Она просит купить хлеба и вкрутить лампочку в коридоре. Ганс не помнит её. Он не помнит ни одной из них. Но они приходят. Они знают его адрес. У них есть ключи. И каждая твердит одно и то же: «Ты обещал».

Содержание

ГЛАВА 1. МЕТРО В ЧАС ПИК	6
ГЛАВА 2. ХОЛОДИЛЬНИК ГУДИТ	8
ГЛАВА 3. КОФЕЙНЯ «У КЛАРЫ»	10
ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ОДИНОЧЕСТВА	14
ПРАВИЛА ОДИНОЧЕСТВА	15
ГЛАВА 5. БАР «СЛОМАННЫЙ НОГОТЬ»	17
ГЛАВА 6. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Хлеб и лампочки

Ганс Grawl

© Ганс Grawl, 2026

ISBN 978-5-0070-4938-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛАВА 1. МЕТРО В ЧАС ПИК

Утро пахло перегаром и мочой — значит, всё шло по плану. Ганс Grawl спустился в метро, как спускаются в канализацию: по привычке, с отвращением и надеждой, что сегодня не засосёт.

В вагоне было тесно, но место нашлось ровно одно — у окна, рядом с девушкой в сером пальто. Она читала что-то с телефона, прядь волос упала на лицо. Ганс сел, стараясь занимать как можно меньше пространства, чтобы не коснуться её плечом. Не помогло.

— Ты сегодня долго копался, — сказала девушка, не поднимая глаз от экрана. — Я уже начала переживать.

Ганс сжал челюсть. Начинается.

— Начальник опять орал? — продолжала она, лёгким движением убрав прядь. — Ты бледный. Я вчера говорила: ляг пораньше. Но ты же у нас принципиальная сова.

Он смотрел в чёрное стекло напротив. Там отражалось его лицо — тридцатипятилетнего мужчины с мешками под глазами, трёхдневной щетиной и взглядом человека, который забыл, когда последний раз хотел жить. Рядом с его отражением сидела она — симпатичная, лет двадцати восьми, совершенно незнакомая. И при этом её рука уже лежала на его рукаве, поправляя манжет.

— Ганс, ну чего ты молчишь? Я ведь волнуюсь. У нас стиральный порошок закончился. И лампочка в коридоре перегорела. Ты обещал вкрутить ещё в прошлый четверг.

Он перевёл взгляд на неё. Никаких примет сумасшествия: зрачки нормальные, голос ровный. Обычная женщина, каких тысячи. И она твёрдо убеждена, что они вместе. Не приставала, не кокетничала — просто вела быт.

— Извините, — сказал Ганс. Слово вышло хриплым, будто гвоздь протащили по бетону. — Вы меня с кем-то путаете.

Девушка нахмурилась, но не так, как хмурятся на ошибку, а как на дурную шутку, которую слышат в сотый раз.

— Очень смешно. Ты каждый раз эту пластинку заводишь. «Я тебя не знаю», «Вы ошиблись». Ганс, мы три года вместе. Три. Года. Хватит.

Она уткнулась в телефон, а он продолжал смотреть на отражение. Вагон трясся. Люди вокруг читали, слушали музыку, никто не обращал внимания на пару, выясняющую отношения. Потому что для них это и была пара.

На станции «Коломенская» девушка встала. Поправила пальто, наклонилась и поцеловала Ганса в висок — быстро, сухо, по-семейному.

— Я куплю порошок сама. И лампочку. А ты купи хоть хлеба, честное слово. Вечером позвоню.

И вышла, растворившись в толпе. Ганс остался сидеть с пятном чужой помады на виске и чувством, будто ему в лёгкие залили цемент. Он не знал эту женщину. Никогда не видел. Но где-то на задворках мозга шевельнулась подлая мысль: может, и правда купить хлеба?

Он тряхнул головой. В кармане звякнула мелочь — ровно на бутылку самого дешёвого пойла. Никакого хлеба. Никаких лампочек. Домой. Только домой.

Но до дома ещё нужно было доехать две остановки. А на следующей станции в вагон вошла другая — в красном шарфе, с пакетом из супермаркета. Она сразу направилась к нему, как к маяку в шторм, села рядом и, не дав опомниться, выпалила:

— Ганс! Я взяла свинину по акции. У нас есть лук? Или ты опять всё сожрал?

Запахло луком. Её пакет шуршал. Вагон качнуло, и женщина в красном шарфе уютно привалилась к его плечу, продолжая перечислять ингредиенты для ужина.

Ганс закрыл глаза и представил свою квартиру: голые стены, продавленный матрас, пепельница-переросток и мёртвая тишина, которую нарушает только гул холодильника. Там не было ни лука, ни свинины, ни женщин с пакетами. Там было только одиночество — тяжёлое, как намокшее ватное одеяло. И оно было единственным, что ещё принадлежало ему по-настоящему.

Домой. Скорее домой.

Поезд нырнул в тоннель, и стёкла стали совсем чёрными. Теперь в них отражалась только эта новая женщина, прижимающаяся к нему, и его собственное лицо — бледное, с крепко зажмуренными веками, словно у человека, который надеется, что когда он их откроет, весь этот абсурд рассосётся, как утренний туман.

Не рассосётся. Он знал это по опыту двух последних лет.

ГЛАВА 2. ХОЛОДИЛЬНИК ГУДИТ

Квартира Ганса Grawl находилась на шестом этаже панельной многоэтажки, которую построили в те времена, когда архитекторы ещё верили, что счастье — это бетонная коробка с низким потолком. Лифт не работал с позапрошлой зимы, и Ганс поднимался пешком, перешагивая через окурки и собачье дерьмо, оставленное соседским той-терьером — существом злобным и лысым, как черт после химчистки.

Ключ повернулся в замке с тем особым скрежетом, который Ганс знал наизусть. Два с половиной оборота, щелчок, толкнуть плечом — дверь открылась. Он вошёл и сразу заперся на все засовы. Три штуки. Один он прикрутил сам после того случая с почтальоншей, которая назвала его «зайчиком» и попыталась обсудить их совместный отпуск в Геленджике.

Прихожая встретила его привычной темнотой. Ганс не стал включать свет — он мог пройти до кухни с закрытыми глазами. Четыре шага прямо, обогнуть коробки с мусором, которые он никак не мог заставить себя вынести, поворот налево, и вот он — старый холодильник «ЗИЛ», который работал с таким звуком, будто внутри него медленно умирал крупный кит.

Гул холодильника был единственным голосом в этой квартире, и Ганс любил его больше, чем любой женский. Холодильник не спрашивал, купил ли он хлеба. Не интересовался, почему он бледный. Не требовал вкрутить лампочку. Он просто гудел — монотонно, басовито, надёжно. Это был звук чистого существования, лишённого смысла и оттого успокаивающего.

Ганс открыл дверцу. Внутри царила тундра: бутылка кетчупа, примёрзшая к полке, три банки просроченного пива и одинокий огурец, который выглядел так, будто видел ещё Брежнева. Он взял пиво, открыл зубами, глотнул. Тёплое, кислое — то, что надо.

Квартира была маленькой: кухня, комната, совмещённый санузел. Мебели — минимум. Матрас на полу, стол, заваленный книгами, пепельница размером с суповую тарелку. На стенах ничего. Ганс не вешал картин, фотографий, плакатов — любые изображения казались ему обещанием, а обещаний он не держал. Единственным украшением была трещина на потолке, которая шла от люстры к окну. По ночам, лёжа на матрасе, он смотрел на неё и думал, что однажды она разойдётся достаточно, чтобы увидеть небо. Пока не расходилась.

Он сел на подоконник, закурил, выпустил дым в приоткрытую форточку. За окном горели окна соседней многоэтажки — жёлтые прямоугольники, в каждом из которых кто-то жил, с кем-то спал, кому-то готовил ужин. Там, в этих сотах, мужчины возвращались домой, и их встречали жёны. Настоящие. Те, которых они выбрали сами. Или думали, что выбрали. Те, кто имел право спрашивать про хлеб и лампочки, потому что был вписан в сюжет их жизни.

У Ганса сюжета не было. Он был чистым листом, который каждый день кто-то пытался заполнить чужой ерундой.

Он докурил, раздавил бычок о подоконник и перешёл к матрасу. Снял ботинки. Носки были разных цветов — один чёрный, другой тёмно-синий. Внешний мир не стоил того, чтобы подбирать пару. Он лёг на спину и уставился в потолок.

Трещина была на месте. Холодильник гудел. Тишина обволакивала, как холодная вода. Никто не говорил с ним. Никто не трогал его плечо. Никто не ждал ответа. Здесь он был не мужем, не парнем, не «зайчиком», не «милым». Здесь он был никем. И это «никто» было самой честной формой существования из всех возможных.

Ганс закрыл глаза. Мысль, как всегда перед сном, поползла в философскую сторону — туда, где он пытался осмыслить происходящее. Кьеркегор, которого он читал третью неделю, утверждал, что отчаяние — это болезнь, которая поражает того, кто не хочет быть собой. Но что если ты хочешь быть собой, а мир настойчиво лепит из тебя кого-то другого? Что если ты хочешь быть никем, а из тебя делают чьего-то мужа? Это не отчаяние. Это насилие. Медленное, бытовое насилие, которое не предусмотрено Уголовным кодексом.

Он почти задремал, когда в дверь постучали.

Ганс открыл глаза.

Стук повторился — три быстрых удара, пауза, ещё два. Не соседский, не пьяный, не ошибочный. Целенаправленный.

— Ганс, — раздался из-за двери женский голос. — Я знаю, что ты дома. У тебя свет в окне горит.

Он не ответил. Замер. Свет действительно горел — он забыл выключить на кухне. Проклятый тёплый прямоугольник, который выдал его с потрохами.

— Открой. Я принесла твои таблетки. Ты опять забыл их у меня. Ганс, у тебя давление, нельзя пропускать приём.

Таблетки. Давление. У него не было проблем с давлением. Он никогда не видел эту женщину — судя по голосу, лет сорока, прокуренному, но с материнскими нотками. И всё же она стояла там, на лестничной клетке, прижимая к груди несуществующие таблетки от несуществующей болезни. Созданная его бедой. Пришитая к нему невидимой нитью.

— Я оставлю под дверью, — сказала женщина после паузы. — И пожалуйста, не пей сегодня. Ты же знаешь, с твоими таблетками нельзя.

Шаги. Тишина. Ганс подождал пять минут, потом на цыпочках подошёл к двери, глянул в глазок. Лестничная клетка была пуста. Он приоткрыл дверь — на коврике лежала упаковка аспирина. Обычного шипучего аспирина, который продаётся в любом ларьке. Он поднял её, повертел в руках. Срок годности истёк полгода назад. Разумеется.

Ганс захлопнул дверь, задвинул все три засова и вернулся к матрасу. Сердце колотилось где-то в горле.

Вот что было самым страшным: они приходили к самому порогу. Уже не только в метро, не только в баре, не только в прачечной. Теперь они знали адрес. И каждая следующая подходила всё ближе — на шаг, на полшага, на дыхание. Как будто кто-то настраивал антенну, сужал радиус, пристреливался.

Он посмотрел на трещину в потолке. Сегодня она показалась ему чуть шире, чем вчера. Или это просто игра теней.

Холодильник гудел. Ганс закрыл глаза и провалился в сон без сновидений — единственный вид сна, который он уважал.

ГЛАВА 3. КОФЕЙНЯ «У КЛАРЫ»

Проснулся Ганс от того, что холодильник взял особенно низкую ноту — будто кит, умирающий второй раз за утро, решил напоследок исполнить арию. Свет сочился сквозь невымытые стёкла — серый, водянистый, какой бывает только в ноябре, когда природа сама не уверена, стоит ли вообще начинать этот день.

Он сел на матрасе. Голова гудела в унисон холодильнику. Во рту стоял привкус вчерашнего пива и позавчерашних решений. С похмелья мир всегда казался Гансу немного честнее: краски тускнели, звуки приглушались, и даже автоматические женщины, возможно, брали выходной.

Возможно.

Он глянул на упаковку аспирина, оставленную ночной гостьей. Просрочен на полгода. Вскрыл, бросил две шипучие таблетки в стакан с водой из-под крана, выпил, не дожидаясь растворения. На вкус — как раскаяние, только дешевле.

Вспомнился вчерашний вагон метро, серое пальто и фраза про хлеб. «Купи хоть хлеба, честное слово». Чёрт знает почему, но именно эта фраза засела в мозгу глубже остальных. Не про лампочку, не про порошок — про хлеб. Самое базовое. Самое унижительное. Хлеб был символом капитуляции. Купишь хлеб — и следующий шаг: начнёшь вкручивать лампочки. А там и до совместного отпуска в Геленджике недалеко.

И всё же Ганс оделся. Не потому что хотел хлеба. А потому что в квартире кончились сигареты, а без сигарет философия Кьеркегора превращалась в сухое шуршание страниц, лишённое всякого экзистенциального кайфа.

Он вышел на лестничную клетку. На коврике лежала новая записка. Написана от руки, женским почерком, на обрывке тетрадного листа: «Ганс, не забудь: сегодня к маме. Я буду ждать у Клары в 10. Целую, Л.»

Ганс повертел записку. Никакой «Л.» он не знал. По крайней мере, не помнил. Он смял бумажку в комок, сунул в карман и начал спускаться. Лифт по-прежнему не работал. Той-терьер соседки по-прежнему был лысым злом. На третьем этаже пахло жареной рыбой и скандалом — из-за двери доносились крики, кажется, на польском. Мир жил своей жизнью, и Ганс проходил сквозь неё, как игла сквозь ткань — не оставляя следов, но и не задерживаясь.

Кофейня «У Клары» располагалась на углу его дома и безымянного переулка, забитого мусорными баками. Вывеска, когда-то зелёная, теперь облупилась до ржавчины, и буква «К» свисала на одном шурупе, грозя упасть на голову какому-нибудь незадачливому прохожему. Впрочем, прохожие здесь не ходили — только местные алкоголики, спешащие к ларьку за добавкой, да сам Ганс, когда жажда кофеина и никотина перевешивала отвращение к людям.

Он толкнул дверь. Звякнул колокольчик — дешёвый, на медной пружинке, с таким звуком, будто где-то вдали разбилась крошечная надежда. Внутри пахло подгоревшим маслом, растворимым кофе и старыми обидами. Четыре столика, барная стойка, за ней — женщина лет пятидесяти, с крашеными в рыжий волосами и лицом, на котором читалась вся тщета бытия, помноженная на стаж работы в общепите.

Это была Клара.

— Явился, — сказала она вместо приветствия, складывая руки на груди так, что бюст приподнялся, как два сдобных батона на витрине. — Два дня не звонил, не писал. Я уже думала, ты умер.

Ганс замер на полпути к стойке. Клару он знал уже года три — как буфетчицу, не больше. Она варила ему кофе, он оставлял чаевые в размере смятой купюры, иногда они обменивались

фразами о погоде. Но сейчас она смотрела на него с той особой смесью укора и нежности, какую вырабатывают только жёны, чьи мужья забывают про годовщину свадьбы.

— Клара, — начал он осторожно, как сапёр, нащупывающий мину. — Мы с вами...

— Мы с тобой, — перебила она, сделав ударение на последнем слове, как будто вбивала гвоздь в крышку гроба. — Три года вместе, а ты до сих пор мне «выкаешь»? Это при посторонних-то? Очень мило, Ганс. Просто прелестно.

Он оглянулся. В кофейне, кроме них, никого не было — точнее, он так думал. Но за угловым столиком, в тени, которую отбрасывала фикусоподобная пальма, сидела девушка в красном шарфе. Та самая, из метро. С пакетом, где, по её словам, лежала свинина по акции. Она подняла руку и помахала ему — по-свойски, будто они условились здесь встретиться.

— Ганс, иди сюда! — позвала она. — Я заказала тебе американо. Ты же пьёшь американо с утра? Или уже перешёл на эспрессо? У тебя желудок ни к чёрту после вчерашнего.

Он не помнил, чтобы у него был больной желудок. И не помнил, чтобы вчера они пили вместе. Но ноги сами понесли его к столику — потому что Клара смотрела со стойки таким взглядом, что лучше было спрятаться за чужую спину, пусть даже эта спина принадлежала очередной самозванке.

— Меня зовут Марина, — сказала девушка в красном шарфе, когда он сел. — На случай, если ты опять «забыл». Твоя избирательная амнезия — это, конечно, очаровательно, но иногда утомляет.

— Я не...

— Знаю, знаю. «Я вас не знаю». Давай пропустим эту часть. У нас мало времени. Сейчас придёт твоя мать, и нам нужно обсудить, что мы ей скажем.

— Какая мать? — выдавил Ганс.

— Твоя, Ганс. Та, что родила тебя. Не говори, что ты и её «забыл».

Колокольчик над дверью звякнул снова. Вошла женщина лет шестидесяти — в бежевом плаще, с причёской «только что от парикмахера» и сумочкой, которую она держала двумя руками, как оружие. Она обвела зал взглядом, нашла Ганса и направилась к столику с решительностью ледокола.

— Мама, — прошептала Марина и встала. — Здравствуйте, Тамара Игоревна.

— Здравствуй, Мариночка. — Женщина чуть кивнула и перевела взгляд на сына. — Ганс. Ты не побрит. И рубашка мятая. Ты в этом поедешь к нотариусу?

— К нотариусу? — переспросил Ганс, чувствуя, как реальность начинает трещать по швам, как старая наволочка.

— Мы же договаривались. Переписать дачу на тебя. Отец оставил её тебе, не мне. Но ты же у нас святой, тебе чужого не надо, поэтому оформим дарственную. Я как раз принесла документы.

Она вынула из сумочки папку — настоящую, с тесёмками, с гербовой бумагой внутри. Ганс смотрел на неё и чувствовал, как в горле поднимается ком тошноты. У него не было дачи. У него не было отца, оставившего дачу. Отец умер, когда Гансу было двенадцать, и оставил после себя только долги и пару старых пластинок «Битлз», которые Ганс продал. Но Тамара Игоревна — женщина, которую он видел впервые, — протягивала ему папку с выражением материнской строгости, не терпящей возражений.

— Подпиши здесь и здесь, — сказала она, раскрывая бумаги.

— А можно мне тоже взглянуть? — раздался голос от барной стойки. Клара вышла из-за неё с кофейником в одной руке и чашкой в другой. Глаза её сузились. — Я, как будущая жена, имею право знать, что там с имуществом.

— Будущая жена? — Тамара Игоревна развернулась к ней всем корпусом. — Ганс, кто эта женщина?

— Я Клара, — сказала Клара, ставя чашку на стол с таким стуком, что кофе выплеснулся на скатерть. — Мы с вашим сыном три года вместе. Живём, можно сказать, душа в душу. Правда, милый?

Она посмотрела на Ганса. Марина посмотрела на Ганса. Тамара Игоревна посмотрела на Ганса. Три пары глаз — и в каждой своя версия его жизни, свой сценарий, свой Ганс Grawl, которого он не знал и знать не хотел.

Он открыл рот, чтобы сказать хоть что-то — и понял, что слов нет. Буквально. Глотка работала, воздух выходил, но звука не было, будто кто-то выключил ему голос на пульте управления.

— Видите? — торжествующе сказала Марина, обращаясь к остальным. — Он молчит, потому что ему стыдно. Он обещал мне, что разведётся с Кларой ещё в прошлом году. Правда, Ганс? Ты же обещал.

— Разведётся? — Клара побледнела. — Мы никогда не были женаты, идиотка. Мы в гражданском браке. Это разные вещи.

— Девочки, не ссорьтесь, — вмешалась Тамара Игоревна тоном, которым разнимают дерущихся кошек. — Ганс, скажи им. Скажи, что мы едем к нотариусу, а эти твои... пассии... подождут.

Ганс всё ещё не мог говорить. Он смотрел на три женских лица, искажённые праведным гневом, и чувствовал, как его собственная личность растворяется, расползается на лоскуты, каждый из которых принадлежит кому-то другому. Он был мужем Клары. Он был парнем Марины. Он был сыном Тамары Игоревны. Он был никем — но никем втройне, что делало его кем-то сразу для трёх женщин, и это противоречие сжимало череп, как тисками.

— Американо, — прохрипел он наконец, и все трое замолчали.

— Что? — переспросила Марина.

— Я хочу американо. И сигарету. — Голос вернулся — скрипучий, как несмазанная дверь. — Пожалуйста.

Клара, всё ещё держа кофейник, машинально налила ему кофе. Марина полезла в сумочку за сигаретами. Тамара Игоревна захлопнула папку и уставилась на сына с выражением, какое бывает у матерей, чьи дети снова их разочаровали.

Ганс взял сигарету из рук Марины, прикурил от зажигалки, которую Клара невесть откуда извлекла из кармана фартука, и сделал глубокую затяжку. Дым обжёг лёгкие, и на мгновение — всего на одно мгновение — мир показался ему почти нормальным. Три женщины спорили о нём, перебивая друг друга, как радиоканалы, которые включились одновременно. Он сидел в центре этого бедлама, курил, пил горький кофе и думал о том, что где-то есть философы, которые годами ищут подтверждение тезиса «ад — это другие». А ему достаточно было выйти за сигаретами.

— ...и вообще, — донёсся голос Клары сквозь пелену дыма, — он храпит по ночам. Я терплю это три года, и что я получаю взамен? Девку в красном шарфе?

— Я не девка! — взвизгнула Марина. — У нас с Гансом духовная близость!

— Духовная близость не купит тебе свинину по акции, — отрезала Клара.

Тамара Игоревна поджала губы и достала из сумочки чётки. Кажется, она начала молиться.

Ганс затушил сигарету в блюде, допил кофе и встал. Ноги дрожали, но держали. Он медленно, не говоря ни слова, двинулся к выходу. Женщины не сразу заметили его уход — они слишком увлеклись выяснением, кому он принадлежит больше.

— Ганс! — крикнула Клара, когда колокольчик уже звякнул. — Ты куда?! А ужин?!

Он не обернулся. Он вышел в серый ноябрьский день, как ныряльщик выныривает из толщи воды, и полной грудью вдохнул воздух, пахнувший выхлопными газами и мусорными

баками. Этот смрад был честнее, чем коричный аромат кофейни. По крайней мере, он ничего не обещал.

Ганс сделал шаг к дому — и тут его догнала Клара. Схватила за рукав. Пальцы у неё были цепкие, как у птицы, питающейся падалью.

— Послушай меня, — прошептала она, приблизив лицо вплотную. От неё пахло кофе и потом — запах, который бывает у людей, слишком долго стоящих у плиты. — Ты думаешь, я не знаю? Думаешь, я дура?

— О чём вы? — Ганс попытался вырвать рукав, но Клара держала крепко.

— О том, что ты не наш. Ни мой, ни Марины, ни этой старухи с дачей. Ты вообще не муж. Ты — дырка в реальности, Ганс. Пустое место, куда каждая дура вписывает мужика своей мечты. Знаешь, сколько вас таких? Один. Ты один на весь этот поганый город.

Ганс перестал вырываться.

— И что дальше? — спросил он севшим голосом.

— А дальше то, что нам это нравится. — Клара улыбнулась — жутковато, одними губами, без участия глаз. — Ты удобный. Ты не споришь. Ты почти настоящий. Почти. Но однажды, Ганс, ты исчезнешь совсем. И тогда кто-то из нас, — она кивнула на дверь кофейни, за которой продолжали спорить Марина и Тамара Игоревна, — решит тебя доделать. Чтобы ты остался. Навсегда.

Она отпустила рукав. Развернулась и ушла обратно, оставив Ганса стоять на тротуаре с открытым ртом и пачкой чужих сигарет в руке.

Дождь начался как-то сразу — мелкий, но въедливый, какой пробирает до костей за пять минут. Ганс поднял воротник плаща и пошёл к дому. Хлеб он так и не купил. Сигареты были чужие, с ментолом — он ненавидел ментол. Дача, которой у него не было, требовала его подписи. Мать, которой у него не было, молилась за его душу. Жена, которой у него не было, ревновала к любовнице, которой у него не было.

И где-то в этом абсурде, думал он, поднимаясь по лестнице, перешагивая через лысого той-терьера, где-то во всей этой конструкции должна была быть трещина. Такая же, как на потолке в его квартире. Через которую можно увидеть небо. Или хотя бы понять, кто всё это пишет.

Дома он заперся на три засова, упал на матрас и уставился в потолок. Трещина определённо стала шире. Или ему казалось. Холодильник гудел. Ментоловые сигареты лежали на столе. Завтра нужно было найти эту «Л.», которая оставила записку. Может, она объяснит. Может, она — часть механизма. Может, она — автор.

А может, просто скажет купить молока.

Ганс закрыл глаза и позволил дождю барабанить по жестяному подоконнику. Этот звук был почти как гул холодильника. Почти. Но слабее. И от него не спасал засов.

ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ОДИНОЧЕСТВА

Ночь прошла без стуков. Без записок под дверью. Без женских голосов в темноте лестничной клетки. Ганс проспал десять часов, что случалось с ним редко — обычно похмелье будило его в четыре утра, мокрого от пота, с одной-единственной мыслью: «Зачем». Но сегодня организм, видимо, решил, что вчерашний цирк в кофейне заслуживает компенсации.

Проснувшись, он первым делом проверил дверь. Засовы целы. Коврик пуст. Холодильник гудит. Трещина на потолке — вот она, родимая. Мир, насколько это было возможно, оставался на своих местах.

Ганс сел на матрас, закурил ментоловую (других не осталось) и попытался думать. Получалось плохо — мысли разбегались, как тараканы при включённом свете. Но одна, самая жирная и настырная, никуда не уходила: Клара сказала, что он «дырка в реальности». Не муж, не любовник, не сын — а пустота, которую каждая встречающая заполняет по своему усмотрению. И самое поганое — это объясняло происходящее. Не оправдывало, но объясняло.

Если он — дырка, то логично, что его нет. А если его нет, то зачем он покупает хлеб? Кому? И главное — зачем вообще выходить из квартиры?

Он докурил, раздавил бычок в пепельнице-переростке и потянулся за книгой. Кьеркегор, «Блезнь к смерти», страница восемьдесят четвёртая. Он читал её вчера, но ничего не запомнил. Перечитал. «Отчаяние — это не отношение к чему-то внешнему, но отношение человека к самому себе». Прекрасно. А если «самого себя» нет? Если вместо себя — зияющая пустота, которую затыкают чужими бытовыми сценариями? Тогда отчаяние — это отношение пустоты к пустоте. Матрёшка, чёрт бы её побрал.

Захлопнув книгу, он подошёл к окну. Во дворе старуха выгуливала того самого лысого той-терьера. Пёс дрожал на ветру, старуха дрожала вместе с ним. Сверху они были похожи на две мумии, решивших напоследок подышать свежим воздухом. Ганс отвернулся.

Нужно было выработать правила. Если мир сошёл с ума, это не значит, что он должен сходить вместе с ним. Он — последний бастион здравомыслия. Или, на худой конец, последний бастион осознанного безумия. Что, в сущности, одно и то же.

Он сел за стол, отыскал огрызок карандаша и на обратной стороне вчерашней записки от «Л.» начал писать.

ПРАВИЛА ОДИНОЧЕСТВА

1. Не вступать в диалог.

Они начинают говорить — и ты уже проиграл. Первая фраза про ужин, про лампочку, про хлеб — это крючок. Если отвечаешь, даже «извините, вы ошиблись», — ты признаёшь их реальность. А признав их реальность, ты признаёшь и свою роль в ней. Молчание — единственная броня. Игнорировать. Как гул холодильника. Как дождь за окном.

2. Не смотреть в глаза.

Глаза — это договор. В них можно прочесть жалость, нежность, упрёк. А поведясь, начать оправдываться. А оправдываясь, согласиться, что ты — тот, за кого тебя принимают. Не смотреть. Смотреть в пол, в стену, в потолок, в книгу. Особенно в книгу: книга — лучший щит. Человек с книгой всегда немного отсутствует.

3. Не брать предметы из их рук.

Ни хлеб, ни сигареты, ни папку с документами. Всякая вещь — якорь. Принял вещь — принял связь. Выбросил или сломал — разорвал связь, но агрессивно, а агрессия тоже форма признания. Лучше вообще не прикасаться. Лучше иметь своё: свои сигареты, свой кофе, свой хлеб. Хлеб покупать в ларьке, где продавец — мужик. Мужики никогда не принимают его за мужа. Проверено.

4. Дом — крепость.

Три засова. Свет на кухне не зажигать, если не задёрнуты шторы. На стук не отвечать. На звонки в дверь — тем более (телефона у него не было, что спасало от звонков мобильных). Если кто-то говорит из-за двери — молчать. Они уходят. Всегда уходят. Пока что.

5. Не пить в публичных местах.

Алкоголь ослабляет защиту. После трёх стопок даже самая абсурдная «жена» начинает казаться почти настоящей. После пяти — почти желанной. После семи — единственной, кто вообще понимает. И тогда ты просыпаешься в чужой постели, с чужим прошлым и чужим котом, который трётся о твои ноги так, будто кормил его годами. Не пить. Пить только дома, где холодильник и тишина.

6. Не искать объяснений.

Самая опасная ловушка. Начать искать, почему это происходит, — значит признать, что у этого есть причина. А если есть причина, значит, есть и решение. А если есть решение, значит, можно что-то изменить. А если можно изменить — значит, ты во всё это веришь. Не искать. Принимать как данность: гравитация, энтропия.

Ганс перечитал написанное. Буквы были кривые — карандаш тупой, рука с похмелья дрожала. Но смысл ему понравился. Это был не план побега. Это был кодекс выживания. Шесть заповедей человека, который не хочет быть чьим-то мужем, сыном или любовником. Шесть правил, позволявших существовать в мире, который настойчиво пытался его присвоить.

Он сложил лист пополам, сунул в карман плаща и почувствовал себя почти уверенно. Почти. Оставался седьмой пункт, который он не стал записывать, но который вертелся в голове: «Если правила перестанут работать — беги». Беги, потому что рано или поздно кто-то из них решит его «доделать», как выразилась Клара. И тогда он станет не дыркой, а пробкой. Навсегда закупоренной в чужом сценарии, с чужой дачей, чужим котом и чужим ужином.

Он встал, оделся, проверил засовы. Сегодня нужно было найти эту «Л.», автора записки. Не для того, чтобы получить объяснение — плевать на объяснения. А для того, чтобы понять, представляет ли она угрозу. Потому что одно дело — случайные женщины в метро. Другое — те, кто подбрасывает записки под дверь. Они ближе. Они знают адрес. Они почти внутри.

Ганс вышел на лестничную клетку. Той-терьер, как по расписанию, гавкнул из-за соседской двери. На площадке пахло борщом и одиночеством. Он сунул руку в карман, нащупал сложенный лист с правилами и начал спускаться.

Внизу, у почтовых ящиков, стояла девушка в зелёном плаще с капюшоном. Она перебирала ключи и напевала что-то себе под нос. Увидев Ганса, она прекратила петь и улыбнулась — широко, как улыбаются старым знакомым, с которыми не виделись пару лет.

— Ганс! — воскликнула она. — Ты вовремя. Помоги донести сумки, я купила картошки на месяц вперёд. И кефир. Ты же просил кефир.

Ганс вспомнил правило первое. Не вступать в диалог. Он молча прошёл мимо. Девушка посмотрела ему вслед, пожала плечами и крикнула:

— Ладно, сама донесу! Но вечером не проси кефир!

Он не обернулся. Улица встретила его дождём и серостью. Люди текли по тротуару, как вода по канализационной решётке, — безлико, безостановочно, без смысла. Ганс поднял воротник и двинулся в сторону бара «Сломанный ноготь». Там, по слухам, ошивалась некая Лиля — возможно, та самая «Л.». А если не она, то хотя бы нальют.

Правила правилами, но трезвым этот мир выносить было невозможно.

ГЛАВА 5. БАР «СЛОМАННЫЙ НОГОТЬ»

Бар «Сломанный ноготь» располагался в подвале дома, который городские власти лет двадцать назад обещали снести, но, видимо, забыли — или сам дом забыл, что его должны снести, и продолжал стоять, вращаясь в землю, как старый зуб в десну. Вывески не было. Вместо неё над входом висел ржавый гвоздь, на котором когда-то, по легенде, какой-то пьяный плотник разодрал палец до кости и, не заметив этого, заказал ещё пива. Отсюда и название. Легенда была глупой, но бармен любил её рассказывать — особенно когда кто-нибудь отказывался платить по счёту. «Видишь этот ноготь? — говорил он, вынимая из-под стойки битую. — Хочешь такой же?»

Бармен был существом без пола и возраста. Звали его Боря, хотя никто не знал, имя это или диагноз. Он брил голову налысо, носил фартук поверх тельняшки и двигался с той особой ленцой, за которой обычно прячется готовность к насилию. Завсегдатаи его уважали. Остальные — боялись. Ганс относился к обеим категориям, в зависимости от количества выпитого.

Сегодня он ещё не пил. Поэтому просто кивнул Боре, сел за угловой столик — тот, из которого просматривался весь зал и оба выхода, — и заказал водки. Сто грамм. Без закуски. Без разговоров.

Боря налил, поставил гранёный стакан на липкую клеёнку и отбыл за стойку, где протирали пивные кружки тряпкой сомнительной чистоты. В баре было пусто, если не считать мужика в углу, который спал лицом в тарелке с сухарями, и пары у окна — худого парня в капюшоне и девушки с крашеными в синий волосами. Они о чём-то тихо спорили. Ганс не прислушивался. Он выпил, зажмурился, переждал волну отвращения к себе и заказал ещё сто.

Водка была плохая — та, что продаётся в пластиковых бутылках без этикетки, — но своё дело делала. После третьей рюмки Кьеркегор в голове заткнулся, уступив место тёплому, почти приятному безразличию. После пятой Ганс начал думать, что, может, всё не так уж плохо. Ну, подумаешь, женщины считают его мужем. Ну, подумаешь, мать, которой у него нет, хочет подарить дачу. Ну, подумаешь, Клара назвала его дыркой в реальности. Дырка — это не приговор. Дырка — это свобода. Дырку не заставишь платить налоги. Дырке не нужно вкручивать лампочки. Дырка — это, в сущности, идеальная форма существования. Отсутствие, которое никто не может удержать.

Он как раз развивал эту мысль до уровня стройной философской системы, когда девушка с синими волосами встала из-за стола и направилась к нему.

Вот чёрт.

Ганс вспомнил правило первое. Не вступать в диалог. Правило второе. Не смотреть в глаза. Но водка сделала правила мягкими, как воск в тёплых пальцах. Он поднял взгляд.

Девушка была молодая — лет двадцать, не больше. Под левым глазом — синяк, уже желтеющий. Губы потрескавшиеся, но улыбка широкая, почти наглая. Одета в драные джинсы и растянутый свитер, который явно был ей велик размера на три.

— Закурить есть? — спросила она, присаживаясь на стул напротив без приглашения.

Ганс молча подвинул пачку. Ментоловые, чёрт бы их побрал.

— Фу, ментол, — сказала девушка, но сигарету взяла. — Ладно, сойдёт. Ты Ганс, да?

Он не ответил. Взял стакан, глотнул. Водка кончилась.

— Боря! — крикнула девушка, оборачиваясь к стойке. — Повтори моему мужу. И мне чего-нибудь. Пива, что ли.

Боря хмыкнул из-за стойки и нацедил пива из крана, который пшикнул, как астматик. Девушка снова повернулась к Гансу. Глаза у неё были серые, с крапинками зелёного, и смотрели они с выражением человека, который знает о жизни что-то такое, чего лучше не знать.

— Меня Лиля зовут, — сказала она. — Но ты это, конечно, забыл. Ты всё забываешь. Удобно, да? Жить с чистого листа каждое утро. Ни обязательств, ни угрызений, ни прошлого.

Ганс молчал. Лиля — вот она, «Л.» из записки. Значит, она была у его двери. Значит, она — одна из них.

— Я оставила тебе записку, — продолжала Лиля, будто прочитав его мысли. — Насчёт мамы. Но это неважно. Мама — это я так, для контекста. Я вообще люблю контекст. Без контекста мы все просто мясо. Ты вот, например, кто без контекста? Мужик в мятой рубашке. А с контекстом — мой гражданский муж, который пьёт водку в подвале и делает вид, что меня не существует. Чувствуешь разницу?

— Я не твой муж, — сказал Ганс. Правило первое рухнуло с треском.

— А чей? — Лиля наклонила голову набок, как птица, заметившая что-то блестящее. — Клары? Марины из кофейни? Или той тётки в сером пальто, которая сегодня утром ждала тебя у подъезда?

У подъезда. Сегодня утром. Та, из метро. Ганс почувствовал, как внутри что-то сжалось. Не страх — скорее, холодное осознание, что радиус сужается. Они больше не встречаются случайно. Они караулят.

— Откуда ты знаешь про Клару и Марину? — спросил он.

— А откуда ты знаешь, что небо синее? — Лиля затянулась ментоловой, выпустила дым через нос. — Это просто факт. Вы все — факты. Ты, Клара, Марина, тётка у подъезда, даже вот этот мужик, который спит в сухарях. Мы все персонажи, Ганс. Вопрос только в том, кто автор.

— Ты пьяная, — констатировал Ганс.

— Естественно. — Лиля взяла его стакан, понюхала, поморщилась. — И ты пьяный. Но это не отменяет проблемы. Слушай, я тут подумала: а что, если это не они к тебе приходят? Что, если это ты их создаёшь?

Ганс уставился на неё. Синие волосы, драный свитер, желтеющий синяк под глазом. Она не была похожа на философа. Но слова звучали так, будто их вынули из его собственной головы.

— Я никого не создаю, — сказал он твёрже, чем чувствовал. — Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

— Хотеть — это уже создавать. — Лиля раздавила сигарету в его пепельнице. — Ты хочешь одиночества? Пожалуйста. Вселенная даёт тебе одиночество. Но она же даёт тебе и нас — потому что ты, Ганс, боишься, что твоё одиночество окажется слишком настоящим. Что если мы исчезнем — исчезнешь и ты. Потому что без нас ты никто. Буквально. Дырка.

Слово «дырка» резануло ухо. Та же самая лексика, что у Клары. Они что, сговорились?

— Клара сказала то же самое, — пробормотал он.

— Клара умная тётка, — кивнула Лиля. — Жалко только, что она спит с Борей за твоей спиной. Но ты не ревнуй, это чисто по дружбе.

Ганс не ревновал. Он вообще не был уверен, что способен на ревность к женщине, с которой никогда не был знаком. Но отчего-то упоминание Бори его задело. Боря, с его битой и фартуком. Боря, который наливал ему водку и молчал. Боря, который, оказывается, тоже был частью этого балагана.

Он встал из-за стола. Ноги держали нетвёрдо, но цель была ясна: подойти к стойке, посмотреть Боре в глаза и спросить — прямо, по-мужски, — что, чёрт возьми, происходит в этом городе.

Но дойти он не успел. Парень в капюшоне — тот самый, что сидел с Лилей вначале, — преградил ему дорогу. Он был молодой, лет двадцати пяти, с бледным лицом и бегающими глазами человека, который что-то употребляет не первый год.

— Ты Ганс, — сказал он не вопросительно, а утвердительно, как будто зачитывал приговор. — Ты спишь с моей девушкой.

— С какой? — вырвалось у Ганса прежде, чем он вспомнил правило номер один.

— С Лилей. — Парень кивнул на синеволосую, которая наблюдала за сценой с выражением лёгкого интереса. — Она сказала, вы вместе живёте. Уже полгода. А я, выходит, так, запасной аэродром.

— Я не живу с ней, — сказал Ганс. — Я её вообще впервые вижу.

— Врёшь!

Парень толкнул его в плечо. Не сильно, но достаточно, чтобы Ганс покачнулся. Алкоголь в крови качнулся вместе с ним. Где-то на периферии зрения возник Боря, который медленно, как подводная лодка, выплывал из-за стойки.

— Послушай, — начал Ганс, пытаясь сохранить остатки рациональности. — Я не знаю, что тебе сказала Лиля, но я не имею к ней никакого отношения. Она просто очередная...

— Очередная кто? — перебил парень, и глаза его сузились. — Очередная шлюха? Ты это хотел сказать?

Лиля отсалютовала им пивной кружкой. Кажется, происходящее её забавляло.

— Я хотел сказать, что я ни с кем не сплю, — выдохнул Ганс. — Вообще. Ни с Лилей, ни с Кларой, ни с какой-либо другой женщиной. Я одиночка. Затворник. Монах. Меня не существует, понял? Я дырка.

Последнее слово он почти выкрикнул. Парень в капюшоне отшатнулся — то ли от неожиданности, то ли от запаха перегара. Но тут в разговор вступил Боря.

— Дырка? — переспросил он, и в его голосе не было насмешки. Только холодное, деловое любопытство. — Это ты хорошо сказал. Дырка. А дырку, Ганс, можно заткнуть. Чем угодно. Хоть пробкой, хоть кулаком.

И, не меняясь в лице, он ударил Ганса в челюсть.

Удар был короткий, без замаха — профессиональный, как у человека, который когда-то занимался боксом или, на худой конец, вышибалой в баре классом повыше. Ганс рухнул на пол, как мешок с костями. В ушах зазвенело. Во рту появился вкус крови и ещё чего-то — кажется, позора.

— Это тебе за Клару, — сказал Боря, наклоняясь над ним. — Она, конечно, дура, но она моя дура. А ты её динамишь третий год. Нехорошо.

— Я не... — прохрипел Ганс.

— Знаю. — Боря вернулся за стойку с таким видом, будто ничего не произошло. — Ты вообще никто. Поэтому я бью тебя не как соперника, а как ничтожество. Чувствуешь разницу?

Ганс чувствовал только боль в челюсти и мокрый пол под щекой. Парень в капюшоне постоял над ним, плюнул куда-то в район плеча (не попал) и ушёл обратно к Лиле, которая уже допивала его пиво. Мужик в углу так и не проснулся.

Прошло, наверное, минут пять, прежде чем Ганс смог встать. Мир качался. Челюсть ныла. В голове стучала одна-единственная мысль: правила не работают. Можно не вступать в диалог, но они заговорят сами. Можно не смотреть в глаза, но они посмотрят в твои. Можно не брать предметы — но кулак сам найдёт твою челюсть. Пассивная оборона не спасает от мира, который считает тебя своим мужем, сыном и любовником одновременно.

Он доковылял до стойки, бросил на неё смятую купюру — кажется, последнюю — и двинулся к выходу. Боря смотрел ему вслед без выражения. Лиля помахала рукой.

— Завтра увидимся, Ганс! — крикнула она. — Не забудь, мы идём к маме!

Он не ответил. Он выбрался на улицу, вдохнул сырой ноябрьский воздух и пошёл к дому, держась за челюсть и за остатки здравого смысла.

Дождь кончился, но небо оставалось серым, как старая газета. Ганс шёл и думал: дырка. Он — дырка. Пустота, которую каждый норовит заполнить. Но что если Лиля права? Что если он сам создаёт их — своим страхом, своим одиночеством, своим отвращением к миру? Что

если, захоти он по-настоящему, — и они исчезнут, оставив его в абсолютной, невыносимой тишине?

Он попытался захотеть. Изо всех сил. Зажмурился, стоя посреди тротуара, сжал кулаки, представил пустоту — чистую, без единой женщины, без единого голоса, без хлеба, без лампочек, без дач и нотариусов.

И когда открыл глаза — увидел, что в ста метрах от него, у входа в его подъезд, стоит девушка в сером пальто. Та самая, из метро. Она держала в руках пакет с чем-то — кажется, батоном — и смотрела на него с выражением человека, который ждал долго, но знал, что дождётся.

— Ганс! — крикнула она, и голос её разнёсся по пустому двору, как звон трамвая. — Я заждалась! Ты где был? У меня ужин стынет!

Она не исчезла. Значит, он не хотел по-настоящему. Или не умел. Или, что самое страшное, — хотел, но она была не следствием его страха, а чем-то совсем другим. Чем-то, что существовало само по себе. Чем-то, что не имело к нему никакого отношения — и всё же караулило у подъезда с батоном.

Ганс развернулся и пошёл прочь от дома. Спать сегодня, видимо, придётся на вокзале. Или под мостом. Или в круглосуточной прачечной, где пахнет порошком и чужим бельём.

Прачечная. Это мысль.

ГЛАВА 6. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Ночь Ганс провёл в круглосуточной прачечной на окраине района — в заведении без названия, где пахло сыростью, дешёвым порошком и чужими носками. Он сидел в пластиковом кресле, сжимая в руке пакет со льдом, который ему продала ночная дежурная — женщина лет шестидесяти с лицом, напоминающим печёное яблоко. Лёд она завернула в полотенце и протянула без слов, но с тем особым выражением глаз, которое Ганс уже научился распознавать: «Ты мой, просто ещё не понял».

К счастью, дальше взгляда дело не пошло. Может, правила всё-таки работали. Может, ночная смена располагала к тишине.

Он просидел до рассвета, глядя, как крутится бельё в стиральных машинах — чужое, чистое, счастливое в своей определённости. У каждого носка была пара. У каждой рубашки — владелец. У каждого полотенца — история. Только он, Ганс Grawl, был здесь лишним элементом, вещью без ярлыка, которую забыли вынуть из барабана.

Когда за окном посерело, он поднялся, расплатился за лёд какой-то мелочью и вышел. Челюсть распухла и болела при каждом движении, но зубов Боря не выбил — и на том спасибо. Ганс двинулся к дому не потому, что хотел, а потому, что тело требовало матраса. Ноги гудели. Глаза слипались. Даже дырке нужен отдых.

Подъезд встретил его привычным запахом борща и собачьей мочи. Той-терьер гавкнул из-за двери, но как-то лениво, без огонька — видимо, тоже не выспался. Ганс поднялся на шестой этаж, проверил коврик: ничего. Ни записки, ни аспирина, ни угроз. Маленькая победа.

Он отпер дверь, вошёл, заперся на три засова. Прислонился спиной к стене и выдохнул — длинно, с присвистом, как спускает воздух проколотая шина. Дом. Тишина. Холодильник гудит. Всё на месте.

Он стянул ботинки, доковылял до матраса и рухнул лицом в подушку, пахнущую пылью и старыми снами. Спать. Просто спать. Без сновидений, без философии, без женщин.

Но, как всегда, что-то пошло не так.

Телефон зазвонил в коридоре — старый, дисковый аппарат, прикрученный к стене ещё при строительстве дома. Он был частью квартиры, как трубы или трещина на потолке. Ганс не помнил, чтобы когда-нибудь подключал его к линии. Он вообще не был уверен, что в этой квартире есть телефонная линия. И тем не менее — звонок. Резкий, механический, настойчивый, как зубная боль.

Он сел на матрасе. Посмотрел на дверь. Телефон продолжал звонить. Пять гудков. Шесть. Семь.

Правило номер четыре: на стук не отвечать, на звонки — тем более. Но телефон не был женщиной. Телефон был аппаратом. Аппараты не лгут. Аппараты просто соединяют.

На десятом гудке Ганс встал и, презирая себя за слабость, подошёл к стене. Снял трубку. Поднёс к уху. Молчал.

В трубке дышали. Не так, как дышат из хулиганства или эротического интереса. Спокойно, ровно — так дышит человек, который точно знает, что ему ответят.

— Ганс Grawl, — произнёс голос. Женский. Низкий, с лёгкой хрипотцой, как у певиц из прокуренных джаз-баров. — Не вешай трубку.

Он не повесил. Не потому, что послушался, а потому, что в этом голосе было что-то иное. Он не говорил про ужин. Не спрашивал про хлеб. Не упоминал лампочки. Он просто назвал его по имени — полностью, с фамилией, — и в этом было больше интимности, чем во всех бытовых монологах вместе взятых.

— Кто это? — спросил Ганс.

— Неважно. Важно то, что я тебе скажу. Слушай внимательно, потому что дважды я повторять не буду.

Пауза. Потом — слова, произнесённые медленно, будто она зачитывала приговор или медицинский диагноз:

— Ты существуешь не для себя. Ты — функция. Ты — текст, который пишут другие. Ты думаешь, это женщины приходят к тебе? Нет, Ганс. Это ты приходишь к ним. Ты — персонаж. Ты — черновик. И пока ты это не поймёшь, ты будешь просыпаться в чужих постелях, с чужими матерями, с чужими дачами. Ты — пустота, которую заполняют. Но заполняют не потому, что ты пуст, а потому, что пустота — это твоя работа. Ты — профессиональное отсутствие. Ты — вакансия. И вакансии не закрывают. Их занимают. На время. Пока не появится кто-то настоящий.

Ганс смотрел на стену напротив. Обои — выцветшие, в мелкий цветочек, — были приклеены ещё до его заселения. Кто-то выбрал их, кто-то клеил, кто-то жил здесь до него. Может, этот кто-то тоже был Гансом. Может, его вселяли сюда снова и снова, как перезапускают программу.

— Откуда вы знаете? — спросил он, и собственный голос показался ему тонким, как папиросная бумага.

— Я пишу тебя, — ответил голос. — Я и ещё несколько человек. Мы — авторы. Ты — сюжет. И сейчас, Ганс, у нас творческий кризис. Мы не знаем, что с тобой делать дальше. Оставить тебя в прачечной? Отправить к маме? Дать тебе настоящую женщину, которая не будет частью программы? Или стереть тебя к чёртовой матери и начать заново, с чистого листа, с новым именем и новыми обоями?

— Не надо, — сказал он. Слово вырвалось прежде, чем он успел подумать.

— «Не надо» — это не аргумент, — усмехнулась трубка. — Ты персонаж, Ганс. У тебя нет права голоса. Точнее, есть, но ровно то, которое мы тебе дали. Хочешь сохранить себя? Докажи, что ты интересен. Докажи, что твоя история стоит продолжения. Сделай что-нибудь. Что-нибудь, чего мы не ожидаем. Удиви нас.

— Что сделать?

— Это ты сам. Ты же у нас экзистенциалист. Действуй. Выбирай. Только помни: если ты нас разочаруешь, следующая глава будет последней. И в ней ты женишься. На ком — не важно. На Кларе, на Марине, на Лиле. Ты станешь мужем. Настоящим. С ипотекой, с тещей, с детьми, с дачей. Ты перестанешь быть дыркой. Ты станешь пробкой. Навсегда.

Щелчок. Гудки.

Ганс стоял с трубкой в руке, прижатой к уху, и слушал, как пищат прерывистые сигналы — монотонно, как кардиограмма остановившегося сердца. Потом медленно, как во сне, повесил трубку на рычаг.

В коридоре было тихо. Только холодильник гудел свою бесконечную арию.

«Я пишу тебя». «Мы — авторы». «Ты — сюжет». Слова крутились в голове, как бельё в барабане стиральной машины. Если это правда, то всё, что он делал, было не его выбором. Его одиночество — не его заслуга. Его страдания — не его вина. Вся его жизнь — черновик, который несколько человек правят, споря о сюжете. И он ничего не решает. Ни-че-го.

Ганс опустился на пол прямо в коридоре, прислонившись спиной к стене. Рядом стоял старый, пыльный телефон — молчащий, как памятник всем разговорам, которых никогда не было.

И тут он заметил то, чего не видел раньше. Телефонный провод. Он шёл от аппарата вниз, к плинтусу, и уходил в стену через маленькое отверстие. Но на проводе была пыль. Толстый слой пыли. Такой, какой скапливается за годы. Никто не прокладывал этот провод недавно.

Но было и кое-что ещё. Провод был перерезан.

Прямо у плинтуса, в десяти сантиметрах от трубки, медный провод был аккуратно перекушен — видимо, кусачками. Два конца торчали в разные стороны, и между ними было расстояние в полсантиметра. Телефон не мог работать. Он не работал всё то время, что Ганс здесь жил. Он не работал, когда Ганс снимал трубку и слышал голос. Он не работал и сейчас.

Ганс смотрел на перерезанный провод и чувствовал, как внутри, в районе желудка, разливается холодная, липкая пустота. Это была не философская пустота, не экзистенциальная дырка, о которой он привык думать. Это был страх. Простой, животный страх человека, который только что говорил по мёртвому телефону и получил сообщение от несуществующего автора.

Он потрогал провод. Пыль осталась на пальцах. Перерезан давно. Очень давно. Может, ещё до него. Может, всегда был перерезан.

И тут телефон зазвонил снова.

Ганс отшатнулся, вжался в стену. Аппарат трезвонил — громко, нагло, требовательно. Мёртвый, перерезанный, невозможный — он звонил, и в его звонке слышался смех. Или, может, это просто нервы.

Ганс вскочил, схватил телефон обеими руками, вырвал его из стены вместе с куском штукатурки и со всей дури швырнул об пол. Пластмасса треснула, трубка отлетела в угол, диск покатился под батарею. Звон оборвался, но не сразу — он ещё какую-то секунду висел в воздухе, как эхо, как послесловие, как последнее слово автора, которое тот не успел стереть.

Тишина.

Ганс стоял над обломками, тяжело дыша, и смотрел на свои руки. Они дрожали. Косточки на правой были сбиты — видимо, когда рвал из стены. Он этого даже не заметил.

В дверь постучали.

— Ганс! — раздался голос Клары. — У тебя там всё в порядке? Я слышала шум. Открой, я волнуюсь!

Он не ответил. Стоял над трупом телефона и думал о том, что Клара никогда не была в его квартире. Он никогда не давал ей адреса. Но она здесь. И она волнуется. И она, как всегда, выбрала самый неподходящий момент, чтобы быть настоящей.

— Ганс! — повторила Клара. — Если ты не откроешь, я вызову полицию. Или открою своим ключом. У меня есть ключ, ты знаешь.

Ключ. У неё есть ключ. От его квартиры. С тремя засовами, один из которых он прикручивал сам. Ключ, которого не могло быть.

Ганс медленно повернулся к двери. Три засова. Все заперты. Ключ не поможет — снаружи не откроешь, если заперто изнутри. Но уверенность в голосе Клары была такой абсолютной, что он на секунду усомнился в физике.

Он подошёл к двери, прижался лбом к холодному дереву и тихо, почти шёпотом, произнёс:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.